

ГОД ЦВЕТАЕВОЙ

Четыре письма
Людмиле
Веприцкой

Предисловие*

Предлагаемые здесь вниманию читателей 4 письма Марины Цветаевой адресованы Людмиле Васильевне Веприцкой, скончавшейся в 1988 году в Москве детской писательнице, дружба с которой возникла в начале 1940 года в Доме отдыха писателей в Голицыно (по Белорусской железной дороге). Читая эти письма, мы становимся свидетелями небольшого, но биографически важного отрезка времени — мытарств, связанных с неустойчивым положением поэтессы, выпадками недоброжелательных чиновников Союза писателей и Литфонда и с одним из ее последних увлечений, к сожалению, весьма неудачным.

Нелишне будет напомнить, что, вернувшись из Парижа в СССР с сыном Георгием (Муром), Цветаева жила одно время на даче НКВД, в поселке Болшево, недалеко от Москвы. Там проживали уже раньше ее муж Сергей Эфрон и дочь Ариадна (Аля). 2 августа арестовали дочь, а 10 октября мужа. Цветаева с сыном не захотела оставаться в пустой, запущенной даче, где веяло смертью. Она осталась на улице, ибо прописку в Москве не получила. Ее не приняли ни в Союз писателей, ни даже в члены Литфонда. Она стала членом группкома, как какой-нибудь начинающий сочинитель. Она обратилась к Фадееву, чтобы он помог ей получить какое-либо жилье и добыть с тамошних вещей, книги и рукописи. Фадеев отделился тем, что рекомендовал ей съездить в Голицыно, с помощью директора местного Дома отдыха писателей, частную комнату за 200—300 рублей в месяц. Директор Литфонда Оськин поручил известной в писательских кругах Серафиме Ивановне Фонской подыскать для Цветаевой комнату в доме, где не было электричества. Но директор Дома отдыха, куда Цветаева с сыном ходили питаться по курсовке, всевластная Фонская, знавшая об отношении начальства к несчастной репатриантке, не пожелала дать ей даже керосиновую лампу. Пришлось бы жечь лучину или сидеть в темноте, если бы не вмешалась писательница Людмила Веприцкая, жившая в это время в Доме отдыха. Темпераментная женщина устроила скандал и добила для Цветаевой лампы. Так началась дружба, и Веприцкая стала наперсницей Марины Ивановны, которая доверяла ей все свои тайны.

В результате остались — печатаемые впервые — письма, написанные Цветаевой по старой орфографии, но публикуемые мною по новой — с соблюдением всех особенностей правописания и пунктуации автора.

1.

Голицыно, безвестный переулочек, дом с тремя красными звездочками, 40 гр. мороза, 9-го января 1940 г.

Дорогая Людмила Васильевна,
Это письмо Вам пишется (мысленно) с самой минуты Вашего отъезда. Вот первые слова его (мои — Вам, когда тронулся поезд):

— С Вами ушло все живое тепло, уверенность, что кто-то всегда (значит — и сейчас) будет тебе рад, ушла смелость входа в комнату (который есть вход в душу). Здесь меня, кроме Вас, никто не любит, а мне без этого холодно и голодно, и без этого (любви) я вообще не живу.

О Вас: а Вам сразу поверила, потому что узнала — свое. Мне с Вами сразу было свободно и надежно, я знала, что Ваше отношение от гадусника — уличного, комнатного — и даже подмышечного (а это важно!) не зависит, с колебаниями не знакомо. Я знала, что Вы меня приняли всю, что я могу при Вас — быть, не думая — как то или иное воспримется — и столкнется — взвесится — наладится. Другие ставят меня на сцену (самое противоестественное для меня место) — и смотрят. Вы — не смотрели, Вы — любили. Вся моя первая жизнь в Голицыно была Вами бесконечно согрета, даже когда Вас не было (в комнате), я чувствовала Ваше присутствие, и оно мне было — оплотом. Вы мне напоминаете одного моего большого женского друга, одно из самых увлекательных и живописных и природных женских существ, которые я когда-либо встретила. Это — вдова Леонида Андреева, Анна Ильинична Андреева, с которой я (с ней никто не дружил) подружилась 1922 г. — 1938 г. — целых 16 лет.

Но — деталь: она встретила меня молодой и красивой, на своей почве (гор и свободы) со всеми козырями в руках, Вы — меня убитую и такую плачевную в зеркале, что — просто смеюсь! (Это — я???). От нее шел Ваш жар и у нее были Ваши глаза и Ваша масть, и встретившись с Вами, я не только себя, я и ее узнала. И она тоже со всеми ссорилась — сразу! и ничего не умела хранить...

Да! Очень важно: Вы не ограничивали

меня — поэзией, Вы, может быть, даже предпочитали меня (живую) — моим стихам, и я Вам за это бесконечно благодарна. Вся жизнь «меня» любили: переписывали, цитировали, берегли все мои записочки («автографы»), а меня — так мало любили, так — вяло. Ничто не льстит моему самолюбию (у меня его нету) и все льстит моему сердцу (оно у меня — есть: только оно и есть). Вы польстили моему сердцу.

— Жизнь здесь. Холодно. Нет ни одного надежного человека (для души). Есть расползшиеся и любопытствующие (напр., — Кашкин), есть равнодушные (почти все), есть один — милый, да, и даже любимый бы — если бы... (сплошное сослагательное!), я была уверена, что это ему нужно, или от этого ему, по крайней мере — нежно... («И взвешен был, был найден слишком легким» — это у меня в пьесе «Фортуна», о герцоге Лозене, которого любила Мария-Антуанетта — и гр. Чарторыйском — и многие, и многие — а в жизни (пьесе обратной Фортуны) почти обо всех, кого я люблю... Я всю жизнь любила таких как Т. и всю жизнь была ими обижена — не привыкать-стать... «Влечение, род недуга»...)

Уехала жена Ной Григорьевича (я его очень люблю, и он меня, но последнее время мы мало были вместе, а вместе для меня — вдвоем, могу и втроем, но не с такой нравоучительной женой), завтра уезжает и он (на несколько дней) и уезжают татарин с женой (навсегда) и Живов, который нынче, напоследок, встал в 2 1/2 ч. дня, а вечером истопил в столовой — саморучно — хороший воз дров.

Новые: некий Жариков, с которым мы сразу поспорили. В ответ на заявление Жиги, что идя мимо «барского дома» естественно захочется наломать цветов, он сказал, что не только — наломать — но поломать все цветы и кусты, потому — что это — чужое, не мое. Я же сказала, что цветы — вообще ничьи, т. е. мои — как звезды и луна. Мы не сами. «И большинство людей — так чувствуют», утверждал молодой писатель — 9/10 так чувствуют, а 1/10 — не так — спокойно заметил Н. Г. (Я в полной чистоте сердца никогда не считала цветок «чужим»). Уж скорей — каждый — своим: внутри себя — своим... Но разная собственность бывает... Жена сказала, что я уж слишком «поэтично» смотрю на вещи, а Мур — такое отношение к чужим садам объяснил моей интеллигентной семьей, не имевшей классовых чувств... — Ух! И все это — потому — что мне не хочется камнем пускаться в окно чужой оранжереи. (Почему все самые простые вещи — так трудно объяснимы, в конечном счете — неодолимы?)

Еще был спор (но тут я спорила — внутри рта) — с тов. Санниковым, может ли быть поэма о синтетическом каучуке. Он утверждал, что — да и что такую пишешь, что всё — тема. («Мне кажется, каучук нужен не в поэмах, а в заводах» — мысленно возразила я). В поэзии нуждаются только вещи, в которых никто не нуждается. Это — самое бедное место на всей земле. И это место — свято. (Мне очень трудно себе представить, что можно писать такую поэму — в полной чистоте сердца, от души и для души.)

Теперь о достоверном холоде: в столовой, по утрам, 4 гр., за окном — 40. Все с жадностью хватаются за чай и с нежностью обнимают подстаканники. Но в комнатах тепло, в них даже пекло. Дома (у меня) вполне выносимо и даже уютно — как всегда от общего бедствия. В комнате бывшего ревизора живут куры, а кошка (дура!) по собственному желанию ночует на веле, на 40-градусном морозе. (М. б. она охотится за волками?)

Ваш «недососок» безумно умилителен. Сосать — впустую! Даже — без соски! И — блаженствовать. Чистейшая лирика. А вот реклама (не менее умилительная!) для сосок — Маяковского (1921 г.). (Первые две строки — не помню.)

...Ну уж и соска, — всем соскам — соска!
Сам эту соску сосать готов!

(Почему-то эта соска в его устах мне видится — садовой шлангой или трубой громкоговорителя, или той — Страшного суда...)

А вот — о «горбатости», Вашей и моей — старые стихи 1918 г., но горб — все тот же.

И вот, навьючим на верблюжий горб,
На добрый — стопудовую заботу,
Отправимся — верблюд смирен и горд —
Справлять неисправимую работу.

Под темной тяжестью верблюжьих тел,
Мечтать о Ниле, радоваться — луже,
Как господин и как Господь велел —
Нести свой крест —

по-божьи, по-верблюжьи.

И будут в золоте пустынных зорь
Горбы — болеть, купцы — гадать: откуда,
Какая это вдруг напала хворь
На доброго, покорного верблюда?

Но, ни единым взглядом не моля —
Вперед, вперед — с сожженными губами,
Пока Обетованная земля

Большим горбом не встанет над горбами.

Но верблюды мы с Вами — добровольные.
(Кстати, моя дочь Аля в младенчестве говорила: горблюд, а Мур — люблюд (от люблю).)

Кончаю. Увидимся — и будем видиться — непременно. Я за Вашу дружбу — держусь. Обнимаю Вас и люблю.

Очень хочу, чтобы Вы сюда приехали.

МЦ

ПРИМЕЧАНИЯ

Анна Ильинична (ур. Денисевич), 1885—1948. Вторая жена Л. Н. Андреева. Цветаева подружилась с нею в Чехословакии после рождения сына Георгия.

Иван Александрович Кашкин, 1899—1963, критик и переводчик с английского, исследователь творчества Э. Хемингуэя.

Лозэн — герцог Бирон, 1753—1793, усмиритель Вандеи, возлюбленный Марины-Антуанетты.

МАРИНА

1892 —

Лит. новости — 1992. — окт. (№ 13) — с. 8

нетты, герой пьесы Цветаевой «Фортуна».

Леонид Жариков, 1911 — автор книг о революционном Донбассе.

Т. — Евгений Борисович Тагер, 1906 — литературовед, автор трудов о М. Горьком и В. Маяковском.

Ной Григорьевич: Ноях Гершелевич Лурье, 1886—1960, еврейский писатель, нбвеллист и драматург.

М. С. Живов, литературовед, славист.

Иван Федорович Жига, 1895—1949, очеркист.

Григорий Александрович Санников, 1899—1969, поэт, автор поэмы «Сказание о каучуке» (1934).

Стихотворение о верблюдах, датированное 14 сентября 1917, хранилось в архиве Цветаевой у дочери Ариадны.

2.

Голицыно, 29-го января 1940 г.

Дорогая Людмила Васильевна,

Начну с просьбы — ибо чувствую себя любимой. («Сколько просьб у любимой всегда...») Но эта просьба, одновременно, упрек, и дело — конечно — в Т.

Я достала у Б. П. свою книгу «После России», и Т. не хотел с ней расставаться (ЛВ! с ней — не со мной — passions). Когда он уезжал, я попросила его передать ее Вам — возможно скорее — но тут началась просьба: а мечтала, чтоб Вы ее мне перепечатали в 4-х экз., один — себе, один — мне, один — Т. и еще запасной. «Нужно мне отдельно писать Л. В.?» — «Нет, я тотчас ей ее доставлю».

По Вашему (вчера 28-го полученному) письму вижу, что Т. не только Вам ее не отнес, а Вам даже не позвонил.

Дело же, сейчас, отнюдь не только лирическое: один человек из Гослитиздата, этими делами ведающий, настойчиво предлагает мне издать книгу стихов — с контрактом и авансом — и дело только за стихами. Все меня торопит. Я вижу, что это важно. Давать же Борисину книгу я не хочу и не могу: по-первых, там надпись, вторых — ее по рукам затреплют, а он ее любит, в-третьих — она по старой орфографии («Живет в пещере, по старой вере» — это обо мне один дальний поэт, люблю эти строки...). Словом, мне до зарезу нужен ее печатный оттиск, по новой орфографии.

Конечно, я бы могла отсюда позвонить Т., но... я — и телефон, раз, я — и сам Т., два. Т. очень небрежно поступил со мной — потому, что я с ним — слишком бережно, и даже больше (переписала ему от руки целую поэму (Горы) и ряд стихов и вообще нянчилась, потому что привязалась, и провожала до станции, невзирая на Люсю и ее выходы...) — я назначила ему встречу в городе, нарочно освободила вечер (единственный) — все было условлено заранее, и, в последнюю минуту — телеграмма: — К сожалению не могу освободиться — (без всякого привета). После того у меня руки — связаны, и никакие бытовые нужды не заставят меня его окликнуть, хотя бы я теряла на нем — миллиарды и миллиарды.

Он до странности скоро — зазнался. Но я всегда думала, что презрение ко мне есть презрение к себе, к лучшему в себе, к лучшему себе. Мне было больно, мне уже не больно, а что

сейчас важно — раздобыть у него книгу (его — забыть).

Тот вечер (с ним) прошел, — а Б. П., который, бросив последние строки Гамлета, пришел по первому зову — и мы ходили с ним под снегом и по снегу — до часу ночи — и все отлегло — как когда-нибудь отляжет — самая жизнь.

О здесь. Здесь много новых и уже никого старого. Уехал Ной Григорьевич, рассказывающий мне такие чудные сказки. Есть один, которого я сердечно люблю — Замашкин, немолодой уже, с чудным мальчишеским и изможденным лицом. Он — родной. Но он очень занят, — и я уже обожглась на Т.

Старая дура

— Годы твои — гора,

Время твоё — царей.

Дура! любит старей.

Други! любовь — старей:

Чужди старей, корней,
Каменных алтарей
Критских старей, старей
Старших богатырей...

Так я всю жизнь отыгрывалась. Так получались книжки.

Ваши оба письма — дошли. Приветствую Ваше тепло — когда в доме мороз — все вещи мертвые: издыхают на глазах, и несвойственно живому жить среди мертвецов, грея их последним теплом — сердечным. Молодец — Вы, этой удали у меня нет.

О себе (без Т.) — перевожу своего «Гоготура» — ползу — скука — стараюсь оживить — на каждое четверостишие — по пять вариантов — и кому это нужно? — а иначе не могу. Мур ходит в школу, привык сразу, но возненавидел учительницу русского языка — «паршивую старушонку, которая никогда не улыбается» — и желает ей быстрой и верной смерти.

Ну, вот и все мои новости. Хозяйка едет в город — торопиться.

Очень прошу: когда будете брать у Т. книгу — ни слова о моей обиде: много чести.

Не знаю, как с бумагой, но лучше бы каждое стихотворение на отдельном листке, чтобы легче было потом составить книгу, без лишней резки. И умоляю Вас — если можно — 4 экз. п. ч. целиком перепечатываться эта книга — навряд ли будет.

Обнимаю Вас и люблю. Пишите.

МЦ

ПРИМЕЧАНИЯ

Мария Белкина, автор книги «Скрещение судеб», которая, возможно, читала у Веприцкой публикуемые здесь письма или скорее читала их черновики в записной книжке Марины Ивановны, пишет:

«Тогда в январе, в Голицыно впервые возникает разговор об издании сборника стихов Марины Ивановны. Какой-то человек из Гослитиздата, этими делами ведающий, предлагает ей издать книгу. И остановка только за стихами. Но у нее нет своих книг, тетрадей, все задержано на таможене. Она достала у Бориса Леонидовича (Пастернака — И. Ш.) «После России», по эту книгу увез Тагер в Москву и не торопится вернуть».

И еще необходимо «Ремесло». Марина Ивановна хочет составить эту новую книгу для Гослитиздата из выпущенных ею в эмиграции — «Ремесло», Берлин 1922, и «После России», Париж, 1922. Из двух она хочет сделать одну...

...А «После России» все еще у Тагера, и Марина Ивановна из-за гордыни к нему не обращается, она им обижена, звонить ему не хочет. Положение спасает Ной Григорьевич Лурье...

По поводу стихотворения «Старая дура»: М. Белкина нашла в нотатнике поэта стихотворение, помеченное 23 января:

Пора! для этого огня

Стара!

— Любовь — старей меня!

— Пятидесяти январей

Гора!

— Любовь — еще старей,

Стара, как хвост, стара, как змей,
Старей ливонских янтарей,
Всех привиденских кораблей!
Старей! — камней, старей — морей...
Но боль, которая в груди, —
Старей любви, старей любви.

Цветаева перевела героическую поэму грузинского классика Важа Пшавелы, 1861—1915, «Гоготур и Аппина».

3.

Голицыно, 3-го февраля, 1940 г.
Дорогая Людмила Васильевна,
Вчера вечером с помощью Ноя Григорьевича — моего доброго гения — звонила Т. Говорила любезно и снисходительно, и выяснила следующее: он не знал, что это «так спешно» (хотя предупреждала его, что книга — чужая, дана мне

Я Т. не меньше обижена, чем Вы, а м. б. — больше, а скорее всего — одинаково: — Но мне порукой — Ваша честь, — И смело ей себя вверяю! — (Побольше бы чести — и поменьше бы смелости! Кстати, по мне, Татьяна — изумительное существо: героиня не верности, а достоинства: не женской верности, а человеческого достоинства. — Люблю ее.)

Сейчас, кстати, Т. мною взят на испытание: одолжит ли мне мою просимую книгу, за которой я к нему направила одного милейшего здешнего человека. (Может, конечно, отвергнется, что книга — чужая, ему — доверена, и т. д.)

Дорогая Л. В. (простите за сокращение, но так — сердечнее), никакой Т. нас с вами никогда не рассорит, ибо знаю цену — Вашей душе и его (их) бездушию. Ведь это тот же «Юра» — из повести, и та же я — 20 лет назад, но только оба

Лит. новости — 1992 — окт (№ 13) — с. 9

ЦВЕТАЕВА

1992

По свидетельству высокопоставленного чиновника Министерства безопасности РФ, не пожелавшего публиковать свое имя, в архиве Цветаевой хранится документ, свидетельствующий о том, что кто-то из чекистов посетил Марину Цветаеву буквально за день до ее смерти. Как сам факт разговора, так и его содержание были сознательно задуманы таким образом, чтобы великая поэтесса приняла единственное решение — самоубийство.

(«Аргументы и факты» № 36)

на срок, и т. д.), с Вами у него вышло «какое-то недоразумение», как раз нынче собрался мне звонить, и даже как-нибудь мечтает — словом, все очень мягко и неопределенно. (Я ни слова не сказала ему о тоне Вашего письма, — только, что Вы до сих пор от него книги не получили.) Когда же я стала настаивать, чтобы он немедленно (хорошее немедленно, когда он уехал 23-го!) Вам книгу сvez, он стал петь, что его цель — получить оттиск, а Вы ему такого не дадите. — Да, но моя цель — возможно скорее иметь свой оттиск, п. ч. это нужно для Гослитиздата! — но тут случился сюрприз: оказывается, у него на руках и другая моя книга, к-ую я пишу по всей Москве, и тоже до зарезу мне нужна (из двух будет (если будет) — одна). Пришлось сдерживать сердце — и даже просить, чтобы он меня выручил, т. е. одолжил на время.

Относительно же первой «сговорились» — так: так как он безумно хочет иметь свой оттиск, а Вы не дадите, он попытается устроить перепечатку сам — в течение 5-ти дней. Я, сначала, было, возмутилась (ибо книга моя, всячески), но тут же поняла, что он этим Вас избавляет от большой работы, а что, если Вы бы когда-нибудь захотели иметь свой оттиск, Вы бы всегда смогли, не спеша, перепечатать для себя — с моего. Командовать же мне не пришлось, п. ч. вторая книга — у него, а она мне необходима, а он мог бы озлобиться. — Уф!

Но все-таки — такую вещь он услышал: — Торговаться со мной — чистое безумие, и даже несвойственно: я всегда даю больше, и Вы это знаете.

Чем кончится история сего перепечаткой — не знаю. Диву даюсь, что он, держа книгу на руках целых десять дней — да ничего, просто продолжает держать...

Подала заявление в Литфонд, отдельно написала Новикову, отдельно ездила к Оськину, к-й сказал, что решение будет «коллективное» (кстати, оно уже должно быть — 1-го). Теперь жду судьбы. Мур учится, я кончаю своего «Гоготура». А в общем — темна вода во облацех. При встрече расскажу Вам одну очень странную (здесь) встречу.

В общем, надо всем: работой, хождением в Дом Отдыха, поездками в город, беседами с людьми, жизнью дня и снами ночи — тоска.

Обнимаю Вас и прошу простить за скуку этого письма, автор которого — не я.

МЦ

4.

Голицыно, 5-го февраля, 1940 г.
Дорогая Людмила Васильевна! Первое письмо залежалось, п. ч. не успела передать его надежному отъезжающему — уехал до утреннего завтрака. Но вот оно, все же — как доказательство (впрочем, не сомневаюсь, что Вы во мне — не сомневаетесь). А вчера вечером — Ваше, с двумя Т — Тютчевым и другим. Первый восхитил и восхитил — от второго, второй не удивил. Я, как и Вы, наверное, всегда начинаю с любви (т. е. всякого кредита) и кончаю — знакомством. А от знакомства недалеко и до раз-
знакомства.

были красивее и все было — куда серьезнее. Бесконечная любовь? Неодушевленность любимого тобою предмета — если он человек. Ведь даже янтарь от твоей любви (сердечная жара!) — сверкает, как никогда не сверкает — от солнечного.

— Кончаю своего «Гоготура», а у Мура даже глагол «гоготуриться». Сплошное го-го — и туры (звери). Когда Гоготур (впрочем, не он, mais c'est tout comme) раскаивается — он долго бьет себя по голове пестом (медным). Как такое передать — в одной строке? (Подстрочник: «Раскаившись, он долго бил себя по голове пестом...») Теперь он уже отбил себя и в виде Хэвсбери (смесь муллы и священника) ниспосылает благодать на Грузию. А по ночам раскаивается в раскаянии и воеет по своему «мертвом молодечестве». Сур-ровая поэма! На очереди — Барс (зверинный Гоготур) — и — боюсь — отъезд, переезд — куда??? Мне нужно серьезно с Вами посоветоваться. Оськин спросил — А какие у Вас — дальнейшие планы? И я ответила: — Никаких.

— С книгой. Будем ждать событий. В конце концов, я всегда смогу отобрать ее у Т. — и переписать от руки.

Целую Вас, пишете. Я все еще (из трусости) не справилась в Литфонде, а срок мой — 12-го.

М.

(Приложение)

5-го вечером

Нынче Вер. Ив. звонила в Литфонд, справлялась о моей судьбе: решение отложено до 7-го. А 12-го истекает срок.

Но в лучшем случае — если даже продлят — мы здесь только до 1-го апреля, п. ч. с 1-го комната сдана детскому саду. Мне очень жаль Мура — придется бросать и эту школу, уже вторую за год.

Съезжать — куда??? На наше прежнее место я не поеду, потому что там — смерть. Кроме того (хорошее — кроме!) эту несчастную последнюю уцелевшую комнату у меня оспаривают два учреждения. Кроме того — дача летняя, и вода на полу — при полной топке — мерзнет. И полкилометра сосен, и каждая — соблазнительна!

Книгу (ту самую) нынче получила, но она — совершенно негодная, на всю ее 5—6 годных, т. е. терпимых — страниц. Уж-жасная книга! Я бы, на месте Т., и читать не стала. Прислал с записочкой — приветливой.

Ну, до свидания! Спасибо за все. Буду знать о своей судьбе — извещу.

М.

Р. С. Никогда не рассоримся: еще то дерево не выросло, из к-го колыбель будет для того Т., который нас рассорит!

(«Грани», № 155)

* Публикация и предисловие Игнатия Шенфельда.

ДВА КАМНЯ

«Я хотела бы лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в тех местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

Таким завещанием неожиданно заканчивается рассказ «Кирилловны», написанный необычайно сочно, зримо, солнечно, истерзанной ностальгией Цветаевой в Париже в 1934 году. Впрочем, у Цветаевой часто рядом с переизбытком жизни идет примеривание на себя смерти. Воскрешая в памяти счастливое тарусское детство, ничего не потеряв, не замутнив за десятилетия мук и скитаний, тянется она сердцем к материнской любви простых русских женщин — хлыстовок и как бы принимает их «мечтательное» удочерение. Если для отца Таруса была эпическим спящим городом-селом, стоящим по красоте в одном ряду с Равенной и Афинами, то для Марины она была кандовой Русью и в то же время эквивалентом рая.

О, дни, где утро было рай,
И полдень рай, и все закаты!
Где были ипагами лопаты
И замком царственный сарай.
1911—1912

Как не похож этот рай страстной поэтической натуры на прекрасный, но призрачный, ирреальный мир творившего здесь и лежащего на этих холмах гениального художника Борисова-Мусатова!

«Кирилловны» были опубликованы в 1961 году в альманахе «Тарусские страницы» и воспламенили сердца поклонников поэзии Цветаевой. Вскоре в Тарусе появился посланец любящей Марины киевской молодежи студент Семен Островой. Он был преисполнен решимости воздвигнуть здесь завещанный Цветаевой памятник. Для этого у него не было ни средств, ни соответствующих санкций — одна лишь любовь к Марине — и

вил камень не у себя дома, не в личном садике, а на земле города Тарусы, а для этого нужно разрешение властей, тем более, что речь идет о памятнике поэту всесоюзного значения со сложной судьбой, много лет проведенному за пределами Родины и т. д. и т. п.

Как ни странно, решающую роль сыграл протест дочери Цветаевой Ариадны Эфрон, отдыхавшей в то время в Латвии. Получив телеграмму о том, что без нее ставят памятник ее матери, она спешно обратилась к Эренбургу и Паустовскому с просьбой запретить происходящее. То ли она боялась, что эта история с самодеятельным памятником вызовет скандал и помешает изданию книги Цветаевой, над которой она тогда работала, а, может быть, возобладали уязвленное самолюбие: ее проигнорировали, с ней не согласовали, даже не пригласили. Уговоры ее тети не помогли. И неофициальный памятник, всего два дня простоявший над Окой, был увезен, а потом разбит на мелкие куски. Паустовский, способствовавший установке памятника, теперь помогал его сносу. Так закончилась эта героическая попытка энтузиаста-одиночки увековечить в Тарусе память Марины Цветаевой. Ее не забыли старожилы Тарусы, написал о ней в своем обширном рукописном труде «Моя Таруса» ленинградец В. С. Шабунин.

Только через 27 лет после этой попытки воля Марины Цветаевой все же была исполнена. К 96-летию со дня ее рождения вполне официально был открыт в Тарусе желанный ею памятник — пониже мусатовского холма у родничка встал черный гранит. Были речи, стихи, цветы — и проливной ливень, быть может, знак неприятия природой этого запоздалого дара поэту. К собравшимся с приветствием обратилась 95-летняя сестра Марины — Анастасия Цветаева, с теплотой вспоминая о том первом снежном памятнике. Он был поистине воздвигнут любовью, той безмерностью чувств, которой была пронизана цветавская поэзия.

— К вам всем — что мне,
ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованием веры
И с просьбой о любви.

Как поздно дошел до «чужих и своих» этот зов распахнутого сердца, когда и след ее могилы был потерян! А ведь такой поэт без любви не живет, дефицит любви его убивает.

— Послушайте!

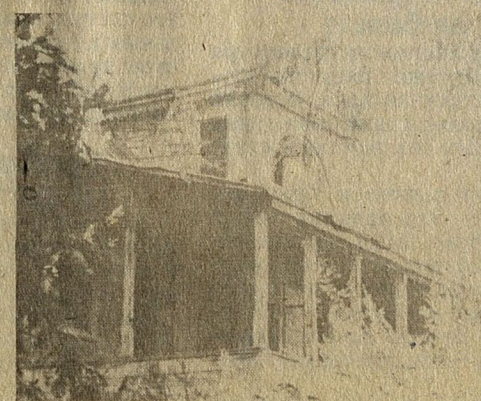
— Еще меня любите

За то, что я умру.

Не услышали. Дали умереть, убить себя. И памятник отняли на целых 27 лет. А любимый дом в Тарусе разобрали на дрова и устроили на его месте танцплощадку дома отдыха. Напрасно дочь Марины Цветаевой два года хлопотала перед Союзом писателей. Он так и не выделил деньги на домик-музей. А требовалось-то всего 7 тысяч — цена высокопоставленного банкета.

Мало любим и бережем мы поэтов в будни. Спыхватываемся лишь в круглые даты. Вот и сейчас к 100-летию Марины в пожарном порядке воссоздается, возводится другой любимый Цветаевыми дом в Тарусе — «дом Тью». Краеведческий музей подготовил экспозицию, но в ней практически нет вещей Марины. Дух ее поэзии по-прежнему живет в дымчато-перламутровых приокских далях, в блаженно дремлющих рощах на волнистых берегах. Такой покой и безмятежность разлиты вокруг, что чувствуешь прикосновение вечности.

Элеонора БЕЛЕВСКАЯ



Снесенный дом Цветаевых в Тарусе

она буквально сдвинула горы. Страстный монолог Острового произвел такое впечатление на начальника тарусского карьера, что он ему подарил большой золотистый гранит весом 3—4 тонны (по воспоминанию Анастасии Цветаевой). Она и ее сводная сестра Валерия Ивановна убеждали молодого человека не ставить мемориальный камень на кладбище. Но он не внял уговорам. Тяжеленный камень с огромным трудом был привезен и установлен на том холме, где расположено поэтическое матвеевское надгробие Борисова-Мусатова. Юный поклонник Марины Цветаевой сам высек красивые буквы завещанной надписи.

А далее... «Увы, собралась общественность...» (А. Цветаева). Сформировалось общественное мнение, что так не делается, что самозванный поклонник устано-

6/2/92